



Художник Е. Станикова

Свет крошечный

— Яко же придеше злыдени да в души седоше, падеше на мир великыя темь. Ибо темны злыдни суть, иже их темь. Иже лягаше темь на всея земли, да сокрываше всяку же тварь живущу: летящу, ползущу, тако же лающу, мычащу да говорящу. Иже пушаше темь злыденей темь, дабы свыше не видаше, яко человецы грех творяше, ибо греховны человецы суть.

Блаженный Микеша кончил говорить и шумно высморкался в рукав. Слышно было, как он, вздыхая, жует беззубым ртом и его грязенькая жидкая бородавка шуршит по рубашке, а мамка наливает попрошайке топленого молока. Тишка чуток подвинулся на лавке — вознамерился горячую горбушку под шумок стянуть. Микешины байки он слышал не раз уже, сидя на печке у какого-нибудь приятеля. Придет Микеша, за стол сядет — и ну бухтеть про великую темь за грехи тяжкие. Смешно. Блаженный, он и есть блаженный — дурачок. Темь всегда была, это любой знает. И то славно: был бы свет, все и ослепли бы. И горбушку, поди, не стянешь — мать враз увидит и подзатыльник даст. Кому нужен он, свет этот?

Поднес Тишка пальцы к самому носу и вгляделся в чуть видное пятно ладошки. Потом отвел руку плавно — и пальцы растворились в черноте. А Тишке все равно видно. Не глазами, а чувством каким-то другим, непонятным. Чувствует он, как поворачивается мамка у печи, как Микеша макает нос в теплое молоко. К чему глаза? И так ладно.

Повел носом Тишка и ощутил явственно свежий духмяный хлебный аромат еще теплой корки с прижаренным капустным листом. Вот он, совсем рядом. Рука почуяла тепло и сама потянулась куда нужно.

— Я все слышу, окаанный! — грозно предупредил мамкин голос. — Вот анчутка! Поди лучше дров принеси.

Тишка соскользнул с лавки, привычно юркнул в сени. Свой дом он знает, как пять невидимых пальцев, да и двор тоже. Проскользнет меж лавок ужом, ничего не зацепит, ничего не свалит. Чують людей, скотину или печку горячую — это у него хорошо получается, только вот вещи всякие — никак...

Свалил Тишка дрова на приступку, а сам на печку шмыгнул. Хорошо, тепло. Дурачок Микеша все не уходил, цедил молоко из кружки да вздыхал:

— Ибо человецы суть. Во темь родяше, во темь уходяше...

Мамка тоже вздыхала следом. И чего вздыхать? Ну, родятся в темноте, и что? Где ж родиться еще, коли кругом темь? И уходят в нее же. А может, и не уходят. Может, их злыдни забирают. За ересь всякую. Или, может, они вовсе пропадают. В реку или там в болото. Во темь, поди, много чего такого есть. Сбился с тропы — и поминай как звали. Батяка Тишкин так и пропал прошлой весной. Пошел по дрова да и не вернулся. То ли заплутал, то ли злыдням в лапы попался. Был человек — и нету. А может, и злыдней-то никаких нету тоже. Кто их видел-то?

— Дидку, а почто людям глаза, коли ничего не видно? — спросил Тишка.

— Ты что пристал к юродивому? — крикнула мамка. — Вот я тебя оттуда ухватом!

Алексей Ерошин



ФАНТАСТИКА

— К чему мальчика ухватом? — забормотал Микеша. — Не надо ухватом. Больно будет.

— Любопытный шибко, — проворчала мамка, — греха с ним не оберешься.

— Ну, а все же? — не унимался Тишка. — Пускай скажет, коли знает. На кой глаза, коли ничего не видно?

— Глаза — дабы суть греховную зреть, которая темь есть, — прошамкал Микеша.

— А скотина почто во темь видит?

— Всякая тварь мычаща, лающа иже блеюща есть тварь безгрешна, поелику бездушна. Человек же есть тварь мысляща, мысли рекуща, творяща лже. Ибо мысль изреченная ложь есть.

Тишка выставил руку с лежанки, ловя ладошкой жар от огня. Рядом с этим жаром тепло мамкино и Микешино почти пропало.

— А вдруг она тоже не глазами видит, скотина-то?

— Что значит — тоже? — взбеленилась мамка. — Я вот тебе дам, злыдень окаанный!

— Шумно у вас, — проворчал блаженный, — пойду я.

Микеша, шаря по стене, прошаркал до двери и вышел. Залаяла дурачкова собака: заждалась. Хорошая у него собака, куда хочешь в два счета доведет. Микеше за нее две козы предлагали — не продал.

— Что ж ты, дурашка, творишь? — всхлинула мамка, едва собачий лай отдалился за ворота. — Беду накликать хочешь? Ну, как донесет он про твое «тоже»?

— Не боись. Кто ему поверит? Он же блаженный.

— Будут они разбираться. С дядькой Филимоном не шибко разбирались.

С Филимоном и в самом деле никто не разбирался — забили до смерти. Раз побили — отошел, а после второго разу не оклемался уже. А зачем было кричать, что все слепые, а он зрячий? Пропал год назад, а потом объявился и ну кричать. Кому такое понравится? Зрячих никто не любит. От лукавого это — во темь видеть. Только злыдни такое могут.

— Иди уж от греха, — вздохнула мамка, — да не болтай при других-то. Худо будет.

Соскользнул с печки Тишка, подобрал со стола уложенную котомку: хлеб, яйца и фляжка молока — весь нехитрый обед пастуший. Снял с гвоздя веревку, накинул на плечо. Чуток задержался на пороге. Неохота Тишке избу покидать — такое тут все уютное, привычное, теплое. Родное все. Мамка мягкой рукой напоследок волосы пригладила — даром что ругает, от любви ведь. Стой не стой, а идти надо: корова с голоду ревет уже, да и приятели заждались.

По росной траве прошлепал в стайку Тишка. Тут ему тоже каждая соломина знакома, на ощупь ходить не надо. Коровы холодным носом привычно в ладошку тычется — ищет соли. А соли-то сегодня Тишка и не взял. Позабыл с дурачком этим. К мягкой теплой шее коровьей прижался и зашептал на ухо, как бабка учила: «На острове Буяне, в реке Ириане, лежит белгорюч камень алатырь. Заклинаю камнем-алатырем, камней

царем: зол-злыдень, сгинь навсегда, без следа, как дым во тьме, как в песке вода. Чур-чур, приди помочь, гони злыдней прочь, в черную ночь, чтоб корову нашу не сбили с пути, а дали домой прийти. Слово мое не зря, крепче камня алатыря. Как я сказал, так и будет!»

Корова трясла ушами — не хотела слушать, хотела на выпас. Ничего, потерпит немного: с наговором оно надежней. Может, и не помогает, а так, бабкины сказки, только все одно спокойней. Привязал Тишка веревку к рогам, калитку открыл да пошел в поводу. Корова сама знает, куда идти, только ногами пошевеливай.

Хорошо поутру на выпас идти. Это поначалу из хаты выходить не хочется, потом к прохладе приобвыкнешься — и хорошо. От лопухов росных свежестью веет, на ветвях птицы щебечут. Корова рядом шагает — горячая, мягкая. Озябнешь, прислонишься на минутку — и хорошо. Слышно уже, как на деревенской площадке мальчишки галдят, собираясь. Коровы мычат, овцы блеют. Осталось последний сарай миновать, и вот она, площадь.

Идет Тишка, не думает ни о чем таком, и вдруг тяжелая рука за плечо. Цоп! Пальцы твердые, как железные, и холодный песий нос в колено уперся. Да это Микеша!

— Ай! Дидку, пусти, больно!

От неожиданности Тишка веревку из рук выронил. Веревка по траве шуршит: корова-то дальше топает. Прошла чуть и остановилась. Ну, хоть не трудно сыскать будет. А Микеша Тишкино плечо отпустил и дружески так прилепнул по мальчишеской худой спине.

— Ступай. Подумал я, ты и впрямь что видишь. А ты — как все.

Приблизил блаженный лицо свое к Тишке вплотную. Пахнуло тряпьем старым, сеном и потом. И даже вроде глаза во тьме видать, и словно свет от них даже. Или показалось все Тишке со страху? И нос крючком этот, и бороденка нечистая, растрепанная.

— Нет, — повторил Микеша, — не видишь ты дальше носа. Во тьме родяше, во темь уходяше. Лже рцы, человецы-червецы... А я-то подумал! Ходишь больно ловко, как зрячий.

— Я, дидку, сердцем вижу! — вдруг шепотом выпалил Тишка. — И тепло всякое чую. Это не грех?

— То не грех, — ответил блаженный, — темь есть грех. Ступай за коровой своей, она тебя выведет, куда надобно.

Сказал так юрливый да веревку в руку Тишке обратно вложил. Корова потянула, и зашагал Тишка дальше по дороге, а старик пропал во тьме, как не было. Тут и на площадь они вышли. А стадо уж на выгон тронулось, еле догнали. Жутковато как-то Тишке от встречи такой. Обхватил он за шею корову свою, к теплему боку приник. Всё не так страшно. Ну, вскоре и на выгон пришли.

На выгоне хорошо! Коровы никуда не денутся: круг луга жерданая городьба устроена. Трава уж подсохла. Можно с приятелями поваляться, клубнику поискать. Клубнику искать легко: пахнет она здорово. Горстью листву прочешешь — и вот тебе угощение. А рядом кузнечики стрекочут, и приятели тож языками стрекочут, словно кузнечики. За разговорами день быстро проходит. Вот скоро и обратно собираться пора. Ищет Тишка свою корову, а коровы-то и нет. Что ж теперь делать-то? Руки выставил, в стаде шарит, ищет кормилицу. Ан все одно нет ее нигде. Раньше-то мигом находил, а теперь никак. Тепло чужое повсюду.

Делать нечего — пошел Тишка вперед от стада. Если отойти подальше — почутья вроде как легче должно. И правда, маячит вдалеке. Еле-еле слышно. Двинулся Тишка на тепло, пока в жердь не уперся. А жердь-то поломана, прогнила. «Чур-чур, приди помочь, гони злыдней прочь, в черную ночь, чтоб корову нашу не сбили с пути, а дали домой прийти», — забормотал

Тишка. Да только не хочет возвращаться корова — стоит себе, дышит, ногами переступает. И недалеко вроде. А за изгородь страшно идти. Может, и ничего, если недалеко? Вернуться-то Тишка сумеет, поди? А без коровы как? Нельзя без коровы.

Привязался Тишка веревкой к жерди, выставил руки да и шагнул за ограду. Пройдет немного, повернется — вроде недалеко ушел. Слышно, как мальчишки кричат, стадо мычит и блеет. Но и корова своя ближе не становится, ровно дальше отходит. Вот и веревка кончилась. И корова совсем рядом дышит. Веревку оставить боязно, да потерять кормилицу еще страшнее.

Бросил веревку Тишка. Идет за коровой, а та от него. И вроде рядом совсем, и не взять никак. Не иначе, Микеша сглазил, злыдень старый. «Приведет куда надобно!» А Тишке туда и не надобно вовсе. Уже и стада не слышно стало. А тут под ногами вовсе захлюпало. Кусты кругом колючие — шиповник. Присел Тишка и завыл тихонько со страху. Тут корова и остановилась. Постояла, подумала, да и назад пошла. Видать, жалко мальчонку стало.

Подошла, губами у лица шлепает, слезы соленые со щек слизывает. А губы мягкие, добрые, только не коровьи вовсе. Пошарил руками Тишка, на недоуздок наткнулся. Эва, голова-то лошадиная! Как же он так обмишулиться мог? Зазря заблуждал, выходит. А теперь что же — пропадать? Дороги назад не найдешь... В недоуздок вцепился, пальцы разжать боится. Ну как уйдет лошадь, что тогда? А так, поди, куда-нибудь да выведет.

Утер щеки рукавом Тишка, всхлипывать перестал. Поднялся, ухватился за гриву на холке да на широкую конскую спину влез. Влез, улегся и за шею обхватил. Пропадать, так не в одиночку. Неси хоть куда-нибудь.

Повернулась лошадь и пошла. Тишка лежит, руки разжать боится — вдруг свалится? Под копытами то болото хлюпает, а то тропа будто. По лицу да по спине ветки шлепают, секут вроде за дурость малолетнюю. Плачет беззвучно Тишка, слезы о гриву вытирает — страшно же. Дома-то все привычно, понятно было, все знакомо. Мир такой маленький да уютный. А тут — эва: огромный, страшный, неизвестный. Идет лошадь, уносит Тишку. А куда? Кто знает? Приостановится, траву пощиплет и снова идет. И конца и краю этому пути не видно.

Спина у лошади широкая, что лавка, только мягкая, живая. И тепло, не замерзнешь. И покачивает, как в зыбке. Песни мамкиной только не хватает. Вместо песни — чу, вода журчит. Речка. Лошадь копытами цок-цок по настилу деревянному. Никак, мост. Ну как сронит? Да нет, ничего вроде — ровно идет, дорога привычная. Руку вытянул Тишка, перила нащупал. Так и есть — мост.

Растопырил Тишка ладошку. От воды тепло идет. Не как от огня, а как от молока парного. И в тепле том будто бы свои пальцы видно. Не у носа самого, а насколько руки вытянуть хватает. Поднял Тишка голову. Чудное дело: чернота посерела будто. Сверху светлее как бы, а ниже черные пятна дров шевелятся. Жуть.

А лошадь все идет, мост перешла и словно бы в гору подымается. А на горе той столп словно. Да яркий такой, аж глаза режет. И лошадь к тому столпу поворачивает.

Струхнул Тишка, голову опустил, лицо в гриву конскую спрятал и глаза закрыл: ну как ослепнешь вовсе от яркости этой? А столп все ближе да все ярче. Уже и сквозь веки видно его, не спрячешься. Пришлось Тишке рукой глаза прикрыть.

Подошла лошадь близко-близко к столпу и стала. Вроде как идти дальше не собирается. Не знает Тишка, что делать: глаза открывать страшно, да и не открывать страшно. Не будешь так век лежать. И тут корова Тишкина вдруг замычала! По голосу-то узнал он ее сразу и от неожиданности руку от глаз отнял. И ничего не увидел. Вблизи столпа тьма еще черней.

Соскользнул Тишка с коня и на голос коровий пошел. Вот она, совсем рядом. Нашарил, обхватил голову рогатую, знакомый запах вдохнул. Ну теперь-то не пропадет, поди. Корова к дому выведет. Вот и обрывок веревки на рогах есть.

Распутал Тишка веревку с куста, корова и пошла. Неспешно так. Рад мальчонка, успокоился. Нашлась. Родная, теплая. Привычная. Огромная такая корова. Теперь и домой можно. Дома-то хорошо: знакомо все, ладно, гладко, уютно. Мамка, поди, вся извелась уже. Хлебы выпекла, на столе остужает. Запах по всему дому. Так и пил бы запах этот...

Шлепает Тишка по тропе за коровой, а столп назади светит. Пройдет немного Тишка и оглянется. Шаг сделает, и тянет его снова посмотреть. Ведь уйдешь — и снова темь вечная, глядеть не на что. А любопытно — страсть! Как страх пропал, так сразу любопытно стало. Аж свербит в носу от интереса.

Остановился Тишка. Корова домой тянет, а столп — к себе. И чем дальше отходишь, тем тянет сильнее. Хоть разорвись надвое. Уйдешь — век жалеть будешь. Ну и поворотил назад. Корова неохотно идет, упирается, словно пускать не хочет. А столп — вот он уже, рукой подать. Словно бы из-под земли растет, как дерево. Ан и не из-под земли вовсе — из камня. На камне знаки какие-то вырезаны, и горят они так, что глазам больно. И не жгутся, потрогать зовут. Не огонь, а горит. Чудно.

Тут корова Тишкина совсем уперлась, чуток дотянуться до камня не дает. Рванул Тишка, веревка и порвалась. А ладошкой он прям в горящие знаки попал. Как полыхнуло у него в глазах-то! Ровно лбом о притолоку приложился. Заорал Тишка матом благим со страху, да и дух из него вон.

Сколько пролежал он подле камня без памяти, никому не ведомо. А только как очнулся да голову поднял, так по глазам и резануло: светло все! И все ему видно. Глядит — а ни столпа, ни камня нету, как не бывало. Трава-мурава под ногами, дерева кудрявыми головами качают. А вверху и вовсе цвета такого, что слезы на глаза наворачиваются. Дюже свет ярко. Только над ним — круглое, горячее, еще ярче. Уж такое яркое,



ФАНТАСТИКА

что и смотреть больно. Вот где свет самый. Куда там столпу давешнему!

Проморгался Тишка, глядит. Поодаль животина стоит, шкура пятнами: половина, как темь, черная, половина светлая. Голова у животины рогатая, к рогам веревка привязана, глаза глядят грустно. «Корова, — догадался Тишка, — на свету-то маленькая да неказистая какая! Грязна, колченога, в репьях вся».

Поднялся Тишка да и пошел по тропке, а корова за ним. С горушки спустился, вот и деревню видно. Мальчишки по выгону бродят, коров собирают. Мужики по заборам руками шарят — к избам своим ковыляют. Бабы да старухи по завалинкам в рукоделия уткнулись, тоже вокруг не видят ничего. Чудно и страшно.

Идет по улице Тишка, удивляется: до чего грязно все, лопухами да крапивой заросше. Избенки кривобокие слепыми окошками в пыль оставились. А которая изба своя, разбери теперь! Кабы корова в калитку не уперлась, ни за что не узнал бы. Домишко махонький, темный, затхлый. Рухлядь. И мамка на крыльце — домишке под стать: ветошь какую-то нацепила, сгорбилась. А у забора Микеша стоит и пристально так смотрит. А на что тут смотреть, коли нелепо, сиро да жалко все?

Сел Тишка у крыльца прямо на землю, глаза закрыл, да и заплакал: пропади он, свет этот кромешный, пропадом!